Уважаемые родители! Все эти рассказы по программе для нашей возрастной группы. Мы эти рассказы уже читали, они ребятам очень нравятся. Перечитайте их на досуге, побеседуйте по содержанию, вспомните авторов.

С уважением Гульдар Губайдулловна. Удачи!
P. S Уверяю эти рассказы вам самим понравятся.

Рассказы для детей 5-6 лет

Евгений Пермяк «Первая рыбка»

Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. Ему всего пять лет было.

Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи.

Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать:

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что ершище жирнее сома.

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ершишки? Но он всё равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка.

Евгений Пермяк «Торопливый ножик»

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой,— отвечает Митя,— косо строгает.

— Да нет,— говорит отец,— ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так,— сказал отец.

Взял палочку да принялся её строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.

Евгений Пермяк «Про нос и язык»

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один и нос тоже один.

— Скажи, бабушка,— просит Катя,— почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка,— отвечает бабушка,— чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному. Ясно?

Виктор Драгунский «Друг детства»

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы

тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие звёзды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далёкий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

— Гоотов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе, как дым, вот и все дела.

Когда я всё это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга — просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную грушу — такой продолговатый тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на всё на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:

— Папа, купи мне грушу!

— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксёрскую грушу!

— А тебе зачем? — сказал папа.

— Тренироваться,— сказал я.— Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?

— Сколько же стоит такая груша? — поинтересовался папа.

— Пустяки какие-нибудь,— сказал я.— Рублей десять или пятьдесят.

— Ты спятил, братец,— сказал папа.— Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошёл на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

— Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из- под дивана большую плетёную корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колёс и на верёвочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлёпкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

— Вот. Это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный.

Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный — жёлтый стеклянный, а другой большой белый — из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся...

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства.

Вот он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара...

— Ты что,— сказала мама (она уже вернулась из коридора),— что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

— Ты о чём, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром.

Виктор Драгунский «Он живой и светится...»

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институте или в магазине или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы всё ещё не было...

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака — они были похожи на бородатых стариков...

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:

— Здорово!

И я сказал:

— Здорово!

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.

— Ого! — сказал Мишка.— Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Её можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой?

Я сказал:

— Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё темнее.

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придёт мама. Но она всё не шла. Видно, встретила тётю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лёг на песок. Тут Мишка говорит:

— Не дашь самосвал?

— Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

— Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

— Сравнил Барбадос с самосвалом...

А Мишка:

— Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

— Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

— Ты его заклеишь!

Я даже рассердился:

— А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

— Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял её в руки.

— Ты открой её,— сказал Мишка,— тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках.

— Что это, Мишка,— сказал я шёпотом,— что это такое?

— Это светлячок,— сказал Мишка.— Что, хорош? Он живой, не думай.

— Мишка,— сказал я,— бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звёздочку, я её домой возьму...

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зелёный, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека... И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит моё сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать.

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

— Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

— Я, мама, променял его.

Мама сказала:

— Интересно! А на что?

Я ответил:

— На светлячка! Вот он, в коробочке живёт. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоём смотреть на бледно-зелёную звёздочку.

Потом мама зажгла свет.

— Да,— сказала она,— это волшебство! Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя,— сказал я,— и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

— А чем же, чем же именно он лучше?

Я сказал:

— Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..

Борис Житков «Как я ловил человечков»

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать,— не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка! — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты. А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щёлку. А они хитрые, человечки, знают, что я поглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают

Это я наврал: дома ночью темно.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел пароходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо.

Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили.

А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на пароходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на пароходике. Их них полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец, как был,— на месте. Ну да! Дураки они днём браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядком и тихонечко шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками. Я не мог больше терпеть.

И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натёр себе и лоб и щёки — всё лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору!

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь? А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу, руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано!

Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его — хлоп! — и захлопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу туда в серёдку рукой — прихлопнуть. Хоть один, да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало.

Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я.— Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревёшь да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала пароходика.

Лев Толстой «Косточка»

Быль

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они ещё лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался,

схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит — одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит:

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?

Все сказали:

— Нет.

Ваня покраснел как рак и сказал тоже:

— Нет, я не ел.

Тогда отец сказал:

— Что съел кто-нибудь из вас — это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь.

Ваня побледнел и сказал:

— Нет, я косточку бросил за окошко.

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

Лев Толстой «Лев и собачка»

Быль

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей; он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её.

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.

Лев тронул её лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.

Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался по клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собаку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

Константин Паустовский «Кот-ворюга»

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не

видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на берёзу.

Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу; она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегам озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать.

Но кот не выходил. Он противно выл, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошёл час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Лёнька взял шёлковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щёлканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии

Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет,— сказал Лёнька,— у него с детства характер такой.

Кот ждал, зажмурив глаза. Тогда Рувим неожиданно сказал:

— Надо его накормить как следует!

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол. Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, подкрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух, прозванный Горлачом.

Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвёртой, передней, лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри у него от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошёл.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотнёй прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Валентина Осеева «Волшебное слово»

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке.

— Подвиньтесь,— сказал ему Павлик и присел на край.

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал:

— С тобой что-то случилось?

— Ну и ладно! А вам-то что? — покосился на него Павлик.

— Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то...

— Ещё бы! — сердито буркнул мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому.

— Убежишь?

— Убегу! Из-за одной Ленки убегу.— Павлик сжал кулаки.— Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у самой сколько!

— Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит.

— Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо тряпкой, тряпкой...

Павлик засопел от обиды.

— Пустяки! — сказал старик.— Один поругает, другой пожалеет.

— Никто меня не жалеет! — крикнул Павлик.— Брат на лодке едет кататься, а меня не берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку залезу!»

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал.

— Что же, не берёт тебя брат?

— А почему вы всё спрашиваете?

Старик разгладил длинную бороду:

— Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово...

Павлик раскрыл рот.

— Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни — тихим голосом, глядя прямо в глаза...

— А какое слово?

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил:

— Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его.

— Я попробую,— усмехнулся Павлик,— я сейчас же попробую.— Он вскочил и побежал домой.

Лена сидела за столом и рисовала. Краски — зелёные, синие, красные — лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой.

«Обманул старик! — с досадой подумал мальчик.— Разве такая поймёт волшебное слово!..»

Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал:

— Лена, дай мне одну краску... пожалуйста...

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она смущённо пробормотала:

— Какую тебе?

— Мне синюю,— робко сказал Павлик.

Он взял краску, подержал её в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?»

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал:

— Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста.

Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке.

— Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой! — приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок.

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе щёки.

«Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика.

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил:

— Возьми меня, пожалуйста.

За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся.

— Возьми его,— вдруг сказала сестра.— Что тебе стоит!

— Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка.— Конечно, возьми.

— Пожалуйста,— повторил Павлик.

Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы:

— Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся!

«Помогло! Опять помогло!»

Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.